



Этнизация феномена миграции в публичном дискурсе и институтах

Владимир Малахов

Миграция — многомерный феномен, имеющий социальную, экономическую, политическую, культурную, демографическую, социально-психологическую, гуманитарную, криминологическую и даже геополитическую* составляющие. Соответственно и анализировать этот феномен можно с разных позиций, используя различные категории. В настоящей статье речь пойдет об осмыслении миграции через этнические категории. Данную интеллектуальную процедуру можно назвать *этнизацией* миграции.

В первой части статьи будут рассмотрены особенности публичного дискурса, обуславливающие этнизацию миграции, во второй — институциональные факторы, способствующие ее восприятию в этнических терминах. В третьей, заключительной, части мы попытаемся сопоста-

вить отношение к миграции и миграционную политику России и Германии**.

* * *

Этнизация миграции — прямое следствие *этноцентричного дискурса*. Под этноцентричным мышлением, или этноцентризмом, мы подразумеваем такой способ теоретического упорядочения (классификации, организации) социальной реальности, при котором базисной категорией является «этнос», понимаемый в свою очередь в эссенциалистском смысле. Этнос в эссенциалистской интерпретации есть самодостаточная данность, которая выполняет роль субъекта истории и самостоятельного агента социального действия [см. подробнее: Малахов 2002: 9–22].

Понятно, что в рамках этого дискурса этнизируется не только миграция, но и

* В той мере, в какой миграция приводит к появлению «глобальных диаспор», она становится фактором международной политики. Одним из первых эту тему начал разрабатывать А. Аппадурай [см.: Appadurai 1998: 11–40].

** Полную версию этого текста см. в сборнике «Миграция и национальное государство», который готовится к печати по материалам одноименного международного семинара. — *Прим. авт.*

общество в целом. Этноцентричный дискурс систематически влечет за собой:

- редукцию социальных различий к этническому, а социальное взаимодействие — к взаимодействию между этническими (этнокультурными или этноконфессиональными) группами;
- отождествление культурной и этнической идентичности индивидов, фиксацию культурной принадлежности в зависимости от этнической аскрипции. Родившись «русским», индивид приписан к «русской культуре», родившись «евреем» или «чувашем» — к «еврейской» или «чувашской» культуре.

В результате, конфликты, возникающие на почве конкуренции за доступ к власти и ресурсам, понимаются как проявление взаимной несовместимости этнических групп — «французов» с «арабами», «казаков» с «армянами», «православных славян» с «мусульманами-кавказцами» и т.д. В таких концептуальных рамках приток мигрантов, этнически отличающихся от основного населения принимающего сообщества, не может восприниматься иначе, как в терминах *угрозы*.

Вполне уместно спросить, кто и почему (вос)производит этноцентричный дискурс? На наш взгляд, к субъектам такого (вос)производства можно отнести часть федеральных и региональных элит, этнических активистов и экспертов. Остановимся на каждом из них подробнее.

Представители элит прибегают к этническим классификациям отчасти по инерции, отчасти по инструментально-политическим соображениям. Хотя все знают, что отношения между Москвой и Казанью — это отношения между федеральным центром и субъектом федерации, они

могут быть истолкованы как отношения между «русским» и «татарским» народами. Для региональных лидеров в национальных республиках, в которых титульная нация составляет значительную часть населения, этническая риторика — апробированный способ накопления символического капитала, а для некоторых московских чиновников — привычная модель упрощения той реальности, которой они собираются управлять. Так, бывший министр РФ по делам национальностей и федеративным отношениям В. Михайлов в предисловии к программному сборнику по этнической политике писал: «Что такое национальная политика? Если говорить коротко, то это искусство соединения национальных интересов. А таковые имеет каждый народ. Поэтому национальная политика состоит в том, чтобы максимально гармонизировать эти интересы» [Национальная политика России 1997: 3]. Вспомним, сколько шума наделало в свое время заявление президента Башкортостана М. Рахимова, согласного которому, его республика никогда не смирится с тем, что от «родственного Казахстана» ее отделяют «каких-то 38 километров оренбургской земли» [см.: Сравнительный регионализм 1997: 153].

Приведем еще несколько примеров проявления этноцентризма в восприятии миграции представителями российского правящего класса. Председатель Комитета Совета Федерации по делам федерации и региональной политике А. Казаков в своей статье «Меры жесткие, но законные», характеризуюя турок-месхетинцев, пишет об их стремлении создавать уклад жизни, носящий «противоправный характер по отношению к русскому образу жизни» [Казаков 2002: 6]. Член Федерального собрания РФ не уточнил, с каких пор «русский образ жизни» стал правовым поняти-

ем. Зато он продумал, как придать легальный статус депортации нежелательных лиц из трудоизбыточных регионов: необходимо создать список закрытых зон, «в которых требуется особая регламентация въезда для иностранных граждан и лиц без гражданства». Эта регламентация затрагивает в первую очередь мигрантов из числа турок-месхетинцев, армян и других меньшинств. Понятно, что зарегистрированы в упомянутых зонах они не будут. Следовательно, их как нарушителей ожидают «меры административного принуждения, включая переселение с указанных территорий» [Казаков 2002: 6].

Этноцентричные обертоны слышны и в некоторых официальных документах. Так, в постановлении Совета Федерации «О ситуации в Краснодарском крае, складывающейся в сфере миграции и международных отношений» от 10 июля 2002 г. говорится о возможных мерах по «временному отселению» (читай — депортации) «из районов конфликтных ситуаций и экологических угроз» определенных категорий граждан. Поскольку одна из этих категорий названа — турки-месхетинцы, можно констатировать, что в основу классификации социального пространства положен этнический принцип.

Другой субъект этноцентричного дискурса — активисты движений за «этническое возрождение», они же — этнопредприниматели, они же — брокеры от культуры. Это лидеры многочисленных культурно-этнических и этноконфессиональных организаций и неформальных структур, которые по искреннему убеждению, а иногда по вполне циничному расчету представляют социальное взаимодействие как взаимодействие между «этносомами». Присутствие в том или ином регионе определенного количества мигрантов, этнически от-

личных от основного населения, эти люди воспринимают как априори нежелательное. Аргументы при этом приводятся, как правило, рациональные: нехватка рабочих мест, негативная криминогенная ситуация, давление на социальную инфраструктуру и т.п. Однако решающее значение имеет иррациональная мотивация — страх за культурно-этническую чистоту.

Наконец, в производстве и воспроизводстве этноцентричного дискурса, как уже отмечалось, участвуют представители академического, в том числе экспертного, сообщества.

В этой связи следует обратить внимание на традицию отечественной «теории этноса», заложенную ее классиком Ю. Бромлеем и продолженную ее диссидентом Л. Гумилевым. Эссенциализм Бромлея, с одной стороны, и натурализм Гумилева, с другой, оказали на нашу читающую публику большое влияние. Размышляя о причинах такого влияния, В. Тишков высказывает предположение, что оно было вызвано в первую очередь монополизацией нашего интеллектуального пространства сторонниками данной парадигмы. В ситуации идеологического вакуума конца 1980-х — начала 1990-х годов именно последователи бромлеевской школы или ее гумилевского ответвления получили возможность определять как кадровую и институциональную, так и издательскую политику (кафедры и факультеты, специализирующиеся на этнологии, этносоциологии, этнопсихологии, огромные тиражи соответствующей литературы, в том числе рекомендуемой в качестве учебной) [см.: Интервью с профессором Валерием Тишковым 2001: 5–36; Тишков 2001: 119]. Большинство российских журналистов и значительная часть экспертов, независимо от того, считают ли они себя приверженцами

Бромлея или Гумилева, заняты тиражированием их представлений об этносах как о «биосоциальных организмах», о присущих им свойствах (характере, темпераменте, возрасте, склонностях) и степени их «пассионарности». За экспертными заключениями по культурно-этническим проблемам, которые предлагают российские ученые телевидению и прессе, нетрудно разглядеть знакомые образы, а именно — все те же гумилевские этносы, озабоченные собственной чистотой и потому крайне болезненно реагирующие на перспективы ее загрязнения мигрантами.

На этом фоне возникают категории типа «этнический баланс» и «этнокультурная безопасность», привлекающие своей квазиобъективностью. Хотя «этнический баланс» — фантомное представление, это выражение, попадая из лексикона журналистов и политиков в лексикон экспертов, приобретает флер научной респектабельности. Никто из аналитиков, оперирующих этим понятием, не поясняет, на основании каких критериев «этнический баланс» высчитывается. Между тем у многих, в том числе академических авторов, пишущих на темы иммиграции, стала чуть ли не общим местом цифра 10%. На нее смотрят как на показатель критической массы, превышение которой чревато этническими конфликтами.

«Пример других государств показывает, — пишет Л. Перепелкин в статье «Миграционные процессы и проблема этнокультурной безопасности в Российской Федерации», — что стоит доле иноэтничных мигрантов вырасти до 10%, как чуть ли не автоматически начинается всплеск фобий» [Перепелкин 2000]. Откуда взялась эта цифра? Почему во многих регионах с гораздо большим количеством мигрантов этого «всплеска» не наблюдается, и на-

оборот: почему мигрантофобия и насилие на почве расовой и этнической ненависти имеют место там, где мигрантское население в процентном отношении к местному весьма незначительно? В качестве подтверждения своего тезиса автор приводит пример Франции: «Так, к середине 90-х годов численность иммигрантского населения достигла во Франции 10%-ного барьера — и на президентских выборах 1995 г. Ж.-М. Ле Пэн, который видит в иноэтничном населении “угрозу существования Франции” и предлагает “очистить страну от мигрантов”, получил 15% голосов. Сходная ситуация характерна для многих из тех стран, куда с 60-х годов направлялись интенсивные потоки гастарбайтеров и переселенцев» [Перепелкин 2000]. Здесь виден целый ряд недоговоренностей и неточностей, не устранив которые, мы рискуем погрешить против истины. Связь между популярностью правых радикалов и активизацией иммиграции на самом деле существует, но она далеко не прямая. Так, в Швейцарии количество мигрантов по отношению к основному населению составляет 18%, однако об особенно тревожном увеличении ксенофобии в этой стране говорить не приходится. Когда в 2000 г. председатель праворадикальной Народной партии И. Блохер выдвинул инициативу законодательно закрепить максимально допустимое количество мигрантов (те самые 18%), общество отклонило это предложение. В 2002 г. провалилась другая инициатива ультрационалистов: ввести в законодательство поправку, запрещающую мигрантам подавать ходатайство о предоставлении убежища, если они прибыли в Швейцарию из «третьей страны», а не прямо из того государства, где терпели преследования. Граждане Швейцарии на референдуме отклонили эту поправку,

продемонстрировав тем самым, что наплыв мигрантов — не самый важный предмет их страхов. А вот жители такой страны, как Австрия, где количество мигрантов в процентном отношении к местному населению гораздо ниже, чем в Швейцарии, отдали в 1999 г. Й. Хайдеру и его антииммигрантской Партии свободы 27% голосов. Правда, тремя годами позже те же самые избиратели отвернулись от Хайдера, хотя иммигрантов в Австрии не стало меньше. Как видим, сам по себе электоральный успех правых популистов не может служить основанием для утверждений о «всплеске фобий».

Попытки ученых придать своим предубеждениям видимость научной обоснованности с помощью ссылок на «зарубежный опыт» порой откровенно неуклюжи. Продолжим цитирование Л. Перепелкина. По его мнению, рост неприязни к мигрантам «во многом» объясняется тем, что «местные общества оказались не в состоянии «переварить» в культурном отношении многочисленное пришлое население, отличное от них в религиозном, языковом и антропологическом отношении». Далее следуют рассуждения о «критической точке» в количестве мигрантов, достигая которой, «масса иностранных рабочих приобретает новую сущность», а именно — начинает стремиться к добровольной сегрегации от принимающего сообщества. В добровольном характере этой сегрегации автор не сомневается, поскольку потребность мигрантов «сохранить этнокультурную самобытность» кажется ему не подлежащим сомнению императивом действий гастарбайтеров и беженцев, а вопросом об *объективных препятствиях* в социальной интеграции мигрантов он не задается. Экономические, правовые и иные социоструктурные факторы, порождающие сегрега-

цию, находятся вне рамок анализа, поскольку исходным допущением автору служит «культурная конкуренция» между мигрантами и принимающим сообществом. Отсюда — заключение о том, что «культурная конкуренция между группами ведет к насилию на этнической почве (турецкие погромы в Германии)» [Перепелкин 2000].

Перед нами еще одно искажение реальности, тем более досадное, что исходит оно не от газетного репортера, а от представителя академического сообщества. Во-первых, происшествие, которое Перепелкин называет «турецкими погромами», представляет собой несколько иное явление. Погром предполагает сравнительно *массовое* насилие, тогда как в акциях против членов семей турецких гастарбайтеров в городах Золинген и Мельн в 1992–1993 гг. принимало участие менее десяти человек. Зато, заметим, на демонстрации, осуждавшие вылазки скинхедов, вышли от 150 до 300 тыс. немцев почти в каждом крупном городе ФРГ. Во-вторых, автор поспешил увязать эти события с ростом иноэтничного населения, вызываемого миграцией. Количество турецких гастарбайтеров в 1992–1993 гг., то есть в момент «погромов», принципиально не изменилось по сравнению с 1990–1991 гг., когда ничего похожего не происходило. После 1993 г. подобные эксцессы по отношению к выходцам из Турции прекратились, хотя количество турецких гастарбайтеров за это время выросло на десятки тысяч. (В начале июня 2003 г., в десятую годовщину событий в Золингене, в центральных немецких СМИ выступили ведущие политики, которые напомнили обществу о трагедии и выразили надежду, что память о произошедшем позволит не допустить подобного в будущем.) В-третьих, пример Германии показал, что интенсивность ксенофобских

настроений и возможность вспышек насилия на почве ксенофобии в гораздо большей степени определяется такими прозаическими вещами, как уровень безработицы (особенно среди молодежи), успешность (или неуспешность) социальной политики в конкретном регионе и т.п., нежели надуманными процентами присутствия «иноэтничного населения». В большинстве так называемых «новых федеральных земель» (территория бывшей ГДР) количество мигрантов принципиально ниже, чем в большинстве «старых», активность же бритоголовых там выше.

Итак, каузальной зависимости между процентами мигрантского населения и мигрантофобией в действительности не существует. Но она присутствует в головах авторов, исходящих из идеала этнической однородности и воспринимающих отклонения от этого идеала как объективное основание конфликта.

Вера в необходимость поддержания «этнического баланса» заставляет некоторых исследователей подыскивать примеры соблюдения такого баланса в регионах, плохо подходящих для этой цели. При этом значение самого выражения «этнический баланс» незаметно подменяется: оно теперь используется не в смысле ограничения иммиграционного притока, а в смысле пропорционального представительства в структурах власти. Перепелкин ссылается, в частности, на Финляндию как на пример поддержания «этнического паритета» в органах управления [Перепелкин 2000]. Но в Финляндии, в отличие от Бельгии и Нидерландов, нет такой практики. Что касается гарантий для шведского меньшинства в Финляндии (таких как признание шведского языка вторым государственным и право на его использование в качестве

языка делопроизводства и образования), то для описания этих мер ни категория «этнический паритет», ни категория «этнокультурная безопасность» ровным счетом ничего не дают. Эти меры вполне вписываются в контекст соблюдения прав человека.

Мы остановились столь подробно на статье Л. Перепелкина из сборника «Миграция и безопасность в России» потому, что содержащиеся в ней нерелевантные допущения весьма типичны для российской литературы по проблемам иммиграции. Пожалуй, центральное из этих допущений — представление о *различии* как *источнике* конфликта. Автор, которого мы только что цитировали, равно как и его многочисленные единомышленники, не сомневается в том, что различия — культурные, этнические, языковые, конфессиональные, жизненно-стилевые — сами по себе служат основой напряжений и коллизий. Так, по мнению З. Сикевич, к «формированию образа этнического врага» приводит «как это ни парадоксально, *сама этничность* (курсив мой. — Авт.)» [Нетерпимость в России 1999: 99]. Исследователи, таким образом, изначально предполагают, что в основе социальных конфликтов лежит *различие как таковое*, а не условия социального взаимодействия, в которых любые различия только и приобретают значимость. Справедливости ради стоит заметить, что подобная логика свойственна отнюдь не только российским авторам. Немецкий философ К. Хюбнер также убежден, что мирное сосуществование различных этнокультурных сообществ — явление не из числа нормальных. Нормальным ему представляется их раздельное существование: «Исторический опыт учит: совместная жизнь различных культур в узком пространстве всегда была посто-

янным запалом, приводящим к новым и новым взрывам» [Хьюбнер 2001: 390].

Бросается в глаза еще одна спорная теоретическая предпосылка, а именно — приравнивание «иноэтничности» к «инокультурности». В российском случае такое отождествление особенно сомнительно, поскольку подавляющее большинство мигрантов в нынешней России — выходцы из республик бывшего СССР, прошедшие социализацию в одних и тех же институтах. Авторы же, пишущие о миграции, представляют аскриптивные характеристики («украинцы», «адыги», «армяне») в качестве культурно-антропологических. Тем самым этническая принадлежность, то есть приписанность к определенной этнической группе, начинает выглядеть как принадлежность некой особой культуре. Культура при этом мыслится в фольклорно-романтическом ключе. Это не коммуникационная система, связующая индивидов с помощью общих знаков и символов, а этнографический конструкт, с которым реальные индивиды не имеют дела в своей повседневной практике. За этими невинными подменами следует далеко не невинное оперирование выражениями-мифологемами: «мусульманская диаспора», «азербайджанская преступность» и т.п. Когда телезритель или читатель газеты узнает от экспертов, что в Москве и Московской области «насчитывается уже порядка полутора миллионов мусульман», он вполне может представить себе плотное кольцо чужаков — приверженцев фундамента-

лизма, тогда как данная статистическая единица обозначает бывших советских людей татарского, северокавказского или закавказского происхождения, в большинстве своем имеющих к исламу весьма стороннее отношение.

* * *

Среди институтов, способствующих этнизации миграции в публичном дискурсе, можно выделить:

- государственные и поддерживаемые государством общественные организации, целью которых является решение проблемы миграции;
- институт прописки (регистрации);
- законодательство, блокирующее возможность интеграции мигрантов в общество;
- общественные организации, в основу создания которых положены этноцентричные принципы.

Начнем рассмотрение с наименее значимого участника воспроизводства этноцентричных представлений — с *этнических неправительственных организаций**. Последние располагают слишком скромными финансовыми, организационными и символическими ресурсами, чтобы их воздействие на публичные дебаты можно было считать весомым. Тем не менее часть этих организаций вольно или невольно способствует укреплению и распространению этноцентризма. Во-первых, некоторые из них ведут довольно активную издательскую деятельность. Напри-

* Я никоим образом не хочу утверждать, что само по себе вынесение в название общественной организации какого-либо этнонима свидетельствует об этноцентричном мышлении их создателей или активистов. Лидеры многих этнических организаций, действующих в российских мегаполисах, не склонны преувеличивать ни значение этничности в структуре личностной идентичности, ни роль этнических факторов в социальной стратификации.

мер, «Ассоциация по комплексному изучению русской нации» выпустила немалое количество квазинаучных монографий и сборников статей, в которых тиражируются откровенно расистские идеи. В пику русскому шовинизму публикуются шовинистические сочинения татарских, тюркских, вайнахских и других этноцентристов [см.: Музаев 1999]. Во-вторых, лидеры этих организаций время от времени выступают по телевидению.

Вклад *государственных и финансируемых государством структур* в этнозацию миграции можно проиллюстрировать на следующем примере [см.: Radtke 1998: 138–157]. Почти сразу после пересечения границы иммигранты, прибывающие в ФРГ, попадают под опеку общественных (часто церковных) организаций. Попечение о мигрантах сопровождается их сегрегацией по культурно-конфессиональному признаку. Католическая *Caritas* берет под свое крыло выходцев из «католических» стран — хорватов, португальцев, испанцев, поляков. Евангельская *Diakonie* принимает на себя заботу о христианах не католических конфессий (в основном выходцах из Греции). Мигранты из исламских стран становятся объектом попечительства со стороны таких организаций, как *Arbeiterwohlfahrt*. Таким образом, в результате административного решения возникают «культурные группы». Реальная самоидентификация индивидов не имеет к их формированию никакого отношения. Классификация по «культурному» признаку не отражает реальной социальной и культурной дифференциации мигрантов: беременные женщины и алкоголики, главы многодетных семей и одинокие холостяки, квалифицированные специалисты и разнорабочие, образованные и малограмотные, владеющие

и не владеющие языком принимающей страны и т.д.

Государство финансирует организации, которые, по замыслу, должны заниматься решением *проблемы мигрантов*. Но на деле они как раз создают эту проблему, поскольку фиксируют мигрантов в строго определенном статусе и делают его изменение практически невозможным: мигранты могут рассчитывать на поддержку только до тех пор, пока считаются членами той или иной «культурной группы», то есть пока находятся внутри сообщества, границы которого заданы извне.

В России подобной сети опеки над мигрантами со стороны государства и тем более со стороны общества не существует. Этнозация миграции здесь связана, причем косвенно, с *институтом регистрации*.

Напомним, что регистрация, как «по месту проживания», так и «по месту пребывания», представляет собой эвфемизм советской прописки. Прописка, в отличие от регистрации в собственном смысле слова, носит не уведомительный, а разрешительный характер, и поэтому она открывает широчайший простор произволу чиновников. Одно из проявлений такого произвола — практика, именуемая в международной литературе «этническим профилированием» (*ethnic profiling*). Речь идет об отсутствующих *de jure*, но активно применяемых *de facto* этнических критериях при решении вопросов о разрешении на пребывание в том или ином месте. Первоочередными жертвами такой практики становятся сезонные рабочие и переселенцы из Средней Азии, Закавказья, Молдавии и Украины, а также российские граждане из республик Северного Кавказа.

Этническое профилирование отчетливо просматривается в том, как власти от-

носятся к мигрантам из южных областей России, ищущим счастья в больших городах Центрального и Северо-Западного регионов. Хотя федеральное законодательство гарантирует российским гражданам свободу передвижения и право на выбор места жительства, фактически они не распространяются на граждан «неславянской» наружности. Для милиционеров и работодателей эти люди — такие же «черные», как и граждане Таджикистана или Азербайджана. Помимо регистрации действует и другой, менее заметный, механизм ограничения права на выбор места жительства, связанный с дискриминацией по этническому признаку при приеме на работу. Писаных правил, закрывающих доступ «кавказцам» и «азиатам» к определенным видам деятельности, не существует, но от этого они не перестают действовать.

По мнению чиновников, разделяемому обыденным сознанием, прописка — единственное эффективное средство в борьбе с преступностью и прочими формами асоциального поведения [см. о социально-структурных и социально-психологических корнях веры в полезность и необходимость прописки: Тишков 2001: 98–103]. И сколько бы Конституционный Суд РФ ни выносил решений о противозаконности правил регистрации, принятых в том или ином регионе, эта практика процветает, предоставляя бюрократической фантазии все новые формы выражения. Так, в Белгородской области власти на протяжении ряда лет практиковали запрет на въезд лиц, политические или религиозные взгляды которых способствуют разжиганию межнациональной розни и проникновению международного терроризма [см.: Мукомель 1999: 198]. В Ульяновской и Ярославской областях все беженцы и переселен-

цы подвергались проверке на употребление наркотиков и причастность к их сбыту [см.: Мукомель 1999: 199]. В Ставропольском крае иностранные граждане могли получить вид на жительство в пределах квоты, равной 0,5% числа жителей соответствующего населенного пункта; в Дагестане и Краснодарском крае вынужденные мигранты дискриминировались по принципу страны происхождения, а в Кабардино-Балкарии кабинет министров специальным постановлением «Об упорядочении учета вынужденных переселенцев» от 7 декабря 1996 г. распорядился... вообще прекратить их прием [см.: Мукомель 1999: 198, 208]. Впрочем, отрадно, что эти юридические «казусы» наблюдались лишь в 1990-е годы. В 2000 г. такие меры были признаны антиконституционными.

Как показывает опыт, те или иные ограничения не только не решают проблем, но еще больше их обостряют. Члены криминальных группировок легко обходят препятствия, воздвигаемые системой разрешительной регистрации, в то же время сама эта система выступает источником коррупции, пронизывающей государственные структуры снизу доверху — от рядового милиционера до чиновника, выдающего свидетельства о регистрации и перерегистрации. К тому же очевидно, что запреты сами по себе не способны сдержать массовых перемещений людей. Эксперты, в частности, прогнозируют, что стремление властей Ростовской области административным путем ограничить приток мигрантов из Закавказья и Средней Азии «скорее всего приведет к массовым попыткам подкупа должностных лиц». В результате в Ростове «вне закона» будут постоянно проживать около 30–50 тыс. человек, что не может не сказаться на криминогенной обста-

новке и общественном спокойствии [см.: Хоперская 1997: 163]. Желание бюрократическими препонами регулировать перемещение людей объективно приводит к вытеснению огромных масс населения за пределы правового поля.

Действие института прописки загоняет мигрантов в замкнутый круг: для того чтобы получить легальный статус (регистрацию), нужно иметь место жительства (например, официально снимаемую квартиру), но для того чтобы получить место жительства, необходимо наличие легального статуса (регистрации). Граждане, сдающие жилье в наем, попросту не готовы иметь дело с паспортными столами.

Нет нужды рисовать картину социальных последствий такой ситуации. Понятно, что она приводит к *геттоизации мигрантов*. Лишенные возможности встроиться в нормальную жизнь, переселенцы пополняют ряды маргиналов. В случае же их этнического отличия от основного населения принимающего сообщества они становятся членами социальных групп, образуемых по принципу происхождения — так называемых этнических сетей. Часть последних (в процентном отношении к общему количеству мигрантского населения незначительная) носит криминальный или полукриминальный характер.

Как это ни парадоксально, институт регистрации как раз и *порождает* те явления, для предотвращения которых он введен.

Отдельного упоминания заслуживает законодательство в отношении мигрантов. Речь идет о недавно принятых редакциях федеральных законов «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Даже в рамках прежнего законодательства обрете-

ние мигрантами правового и социального равноправия по отношению к постоянным резидентам было весьма проблематичным. Новые же законы закрывают и без того минимальные возможности для интеграции мигрантов в общество.

Рестриктивные меры традиционно объясняются их российскими адептами тощим бюджетом и неразвитостью социальной инфраструктуры в стране. Действительно, российская экономика, ориентированная на сырьевой экспорт, не в состоянии предложить мигрантам такие же возможности трудоустройства, какие имеются на Западе, а отечественная система социального обеспечения находится в состоянии столь плачевном, что не может позволить себе крупных затрат на программы адаптации мигрантов. *Отчасти* последним обстоятельством объясняется стратегия компетентных органов — медлительность территориальных отделов Федеральной миграционной службы в регистрации соискателей статуса вынужденного переселенца, саботирование местными властями федеральных законов (будь то право на выбор места жительства или выплата единовременных пособий, по закону полагающихся беженцам). Но лишь *отчасти*. Рациональные резоны здесь явно уступают эмоционально-идеологическим. Ну не укладывается в сознании чиновника, что «иностранцы» могут обладать теми же правами, что и «коренные» жители. И уж совсем за пределами его разумения находится перспектива натурализации «черных», причем не «наших», из Средней Азии и Закавказья, а «тех» — индусов, перуанцев, африканцев.

Давайте называть вещи своими именами. Правовой беспредел — правовым беспределом, расизм — расизмом. Ибо никаким экономическим кризисом не

объяснить, почему из многих десятков тысяч (по разным оценкам — от 40 до 100 тыс.) афганцев, живущих в России, — а это в основном те, кто помогал нам строить в Афганистане социализм и бежал оттуда после ухода советских войск в 1989 г., — за десять с лишним лет гражданство получили менее 100 человек. Почему из более, чем 15 тыс. грузин, бежавших в Краснодарский край из Абхазии в 1992–1993 гг., вынужденными переселенцами были признаны лишь 121? Как отмечают авторы доклада правозащитного Центра «Мемориал» [см.: Айламазян и др. 2002], всего осенью 1992 г. из Абхазии в Краснодарский край бежали около 30 тыс. человек и еще около 5 тыс. были эвакуированы из Сухуми в октябре 1993 г. Второй по численности группой беженцев после грузин были армяне. Статус вынужденных переселенцев был предоставлен 598 представителям этой национальности, общее же число получивших этот статус — около 2 тыс. Избирательность в предоставлении статуса по этническому признаку очевидна.

* * *

Россияне и немцы имеют во многом сходную позицию по отношению к миграции. Во-первых, в публичном дискурсе обеих стран доминирует *этническая модель нации*. Нация в рамках этой модели рассматривается как общность происхождения, предполагающая единую культурную идентичность, а не как гражданско-политическое сообщество, допускающее множественность культурных идентичностей своих членов. Во-вторых, политические элиты обеих государств упорно не желают называть свои страны «иммиграционными». Обсуждение в бундестаге нового законодательства об иммиграции показало, что препятствием на пути его приня-

тия является именно это нежелание признать Германию «иммиграционным государством» (*Einwanderungsstaat*). Российские политические элиты в идеале также ориентируются на «национальное государство», понимаемое в терминах этнокультурной однородности. Риторика многонациональности, к которой иногда прибегают отечественные чиновники, ничего принципиально не меняет: Россия, согласно широко распространенному мнению, есть держава с одним «государствообразующим народом» и несколькими десятками этнических (национальных) меньшинств. Данная установка, несмотря на ее противоречие Конституции РФ, находит приверженцев и среди законодателей. Так, в разделе VI Концепции государственной национальной политики Российской Федерации (1996 г.) читаем: «Межнациональные отношения в стране во многом будут определяться самочувствием русского народа, являющегося опорой российской государственности» [Национальные отношения 1998: 29]. Созвучно этой позиции мнение бывшего министра РФ по делам национальностей и федеративным отношениям В. Михайлова: «Думается, что именно полнокровный федерализм является оптимальной моделью развития государственности в России. Но федерализм с учетом особенностей нашей многонациональной державы, ее территории, доминирования русской нации» [Национальная политика России 1997: 3–4].

(Этно)националистическая модель в значительной мере определяет отношение бюрократий обеих государств к иммиграции. И в России, и в Германии акцент в иммиграционной политике делается на поощрение въезда членов этнонации. Правда, в нашей стране ситуация не столь однозначна. Установки, которыми руководствуются

чиновники, крайне противоречивы. Например, в упомянутой выше Концепции государственной национальной политики РФ говорится о необходимости оказания поддержки «соотечественникам за рубежом» и «особенно этническим россиянам» [Национальные отношения 1998: 31]. Симптоматична этнозация термина «россияне», обычно используемого для обозначения надэтнического, гражданского сообщества. Однако чаще под «зарубежными соотечественниками» российские официальные лица имеют в виду не этнических русских, а выходцев из России, проживающих в сопредельных государствах и сохранивших лояльность русскому языку и культуре. Безоговорочно этноцентричной можно считать нынешнюю политику властей одного российского региона — Краснодарского края. Известны ксенофобские высказывания губернатора Кубани А. Ткачева, касающиеся, в частности, выдворения с территории края незаконных мигрантов — лиц с фамилиями, оканчивающимися на «оглы», «швили» и т.п. [см.: Петросян 2002].

В Германии этнические предпочтения при приеме иммигрантов достаточно очевидны. Вплоть до внесения изменений в законодательство о гражданстве в 1999 г. мигранты «немецкого» происхождения, независимо от срока давности, считались здесь репатриантами. (Ради семантической точности следовало бы назвать их экс-патриантами, ибо *Aussiedler* буквально означает не «переселенец», а «выселенец»). Термин «переселенец» (*Ubersiedler*) в официальном дискурсе Германии применяется для обозначения немецких граждан, изгнанных после Второй мировой войны с территорий, отошедших к другим государствам, например, из Силезии, частично вошедшей в состав Польши, или Восточной Пруссии, ставшей частью СССР.)

За период с 1945 по 1988 г. Федеративная Республика Германия инкорпорировала в себя около 14 млн. человек. В начале 1990-х годов иммиграционный приток в эту страну составлял до 1 млн. ежегодно [см.: Castles 1997: 55–72], официальная же статистика приводила данные в несколько сотен тысяч человек [см.: Sassen 1999], поскольку этнические немцы иммигрантами не считались. Классификация мигрантов по принципу «репатрианты *versus* иностранцы» во многом противоречила здравому смыслу. Первые не рассматривались как иммигранты, хотя по существу таковыми являлись, ибо в большинстве своем не знали языка и не обладали социальной компетенцией, необходимой для интеграции в принимающее общество. Вторые, напротив, считались иностранцами даже во втором и третьем поколении. Идеал (этно)национального государства побуждал власти к действиям, контрпродуктивным с точки зрения экономической рациональности: на мероприятия по интеграции «аусзидлеров» тратились гигантские средства, тогда как потомки гастарбайтеров с Балкан и Турции, прошедшие социализацию в Германии, уже были интегрированы. Государство, тем не менее, предпочитало вкладывать деньги в обустройство новых репатриантов, поощряя гастарбайтеров к отъезду на «историческую родину».

Этноцентричное понимание природы национального сообщества приобрело в Германии такую степень легитимности, что попытки коалиционного правительства социал-демократов и «зеленых» провести в 1999 г. через парламент закон, разрешающий двойное гражданство, были заблокированы под давлением общественности (вернее, усилиями активистов оппозиционного блока ХДС/ХСС, которые собрали

2 млн. подписей в поддержку призыва отказать от предложенного законопроекта). Впрочем, помимо традиций, ригидность немецкого общества в трактовке феномена нации объясняется и причинами историко-политического порядка: разделом страны в 1945 г. на две оккупационные зоны, из которых впоследствии оформились два государства. Формально признав ГДР, политические элиты ФРГ в течение четырех послевоенных десятилетий придерживались концепции разделенной нации, что нашло отражение в конституции: в ней была закреплена дефиниция «немецкости», восходящая к имперскому законодательству 1913 г.

Объединение Германии в 1990 г. открыло дорогу к пересмотру базисных допущений консервативного политического дискурса. (Следует отметить, что значительная часть немцев как в Западной, так и в Восточной Германии не разделяла этих допущений и, в противовес этнической концепции нации, ориентировалась на ее гражданско-политический идеал. Согласно этой позиции, у граждан ГДР после падения режима Э. Хонеккера не следовало

отнимать шанс на развитие в рамках самостоятельной, автономной политики [см.: Habermas 1990: 205–224; Хабермас 1999: 93–122].) Однако этот пересмотр идет крайне болезненно, о чем свидетельствует и компромиссный характер иммиграционного закона, принятого в 2002 г., и недавние дебаты о «руководящей культуре» (*Leitkultur*).

Очевидные параллели между Россией и Германией все же не должны помешать нам разглядеть важное *различие в тенденциях*. Изменения в законодательстве, принятые в Германии в 1999–2002 гг., предусматривают смягчение существовавших прежде ограничений. Это свидетельствует о наметившемся отходе от этноцентричного видения национального сообщества и о растущей готовности немецкого общества включить в свой состав новых членов. В российском законодательстве, напротив, изменения направлены в сторону ужесточения. Тем самым закрепляется этноцентричный идеал нации как сообщества лиц одного происхождения, которое не считает нужным пополнять свой состав за счет миграции.

примечания

Айламазьян В.Б., Осипов А.Г., Сапожников Р.В. 2002. Правовые механизмы противодействия этнической дискриминации и разжиганию этнической вражды в России, возможности их использования и степень эффективности. Доклад правозащитного Центра «Мемориал»: <http://www.memo.ru/hr/discrim/ethnic/dskr2002>.

Интервью с профессором Валерием Тишковым. 2001 // «Журнал социологии и социальной антропологии», т. IV, № 4(16).

Казаков А. 2002. Меры жесткие, но законные // «Московские новости», 06–12.08, № 30.

Малахов В. 2002. Преодолимо ли этноцентричное мышление? // Расизм в языке

социальных наук / Под ред. В. Воронкова, О. Карпенко, А. Осипова. СПб.: Алетейа.

Музаев Т. 1999. Этнический сепаратизм в России. М.: Панорама.

Мукомель В.И. 1999. Перспективы притока вынужденных мигрантов в Россию // Миграционная ситуация в странах СНГ / Под ред. Ж. Зайончковской. М.: Комплекс-Прогресс.

Национальная политика России: история и современность. 1997. М.: Русский мир.

Национальные отношения: отечественные и международные правовые документы. 1998. М.

Нетерпимость в России: старые и новые фобии. 1999 / Под ред. Г. Витковской и А. Малашенко. М.: Московский центр Карнеги.

Перепелкин Л. 2000. Миграционные процессы и проблема этнокультурной безопасности в Российской Федерации // Миграция и безопасность в России / Под ред. Г. Витковской и С. Панарина; Московский центр Карнеги: <http://www.carnegie.ru/ru/pubs/books/volume/56595.htm>.

Петросян А. 2002. Пофамильная зачистка: Губернатор Кубани провозгласил кампанию против этнической

миграции // «Известия», 19.03; <http://www.izvestia.ru/politic/article15884>.

Сравнительный регионализм: Россия — СНГ — Запад. 1997. Н. Новгород.

Тишков В.А. 2001. Этнология и политика. Научная публицистика. М.: Наука.

Хабермас Ю. 1999. В поисках национальной идентичности. Философские и политические статьи. Донецк: изд-во «Донбасс».

Хоперская Л. 1997. Современные этнополитические конфликты и проблема миграции на Северном Кавказе // Миграция в постсоветском пространстве: политическая стабильность и международное сотрудничество / Под ред. Р. Азраэла, В. Мукомеля, Э. Паина. М.: Комплекс-Прогресс.

Хьюбнер К. 2001. Нация. От забвения к возрождению.

М.: Канон, ОИ «Реабилитация».

Appadurai A. 1998. Globale ethnische Raume // Perspektiven der Weltgesellschaft / Hrsg. v. U. Beck. Fr. a. M.: Suhrkamp.

Castles S. 1997. Democracy and Multiculturalism in Western Europe // Holmes L., Murray Ph. (eds.) Citizenship and Identity in Europe. Gateshead, Tine&Wear: Atheneum Press, Ltd.

Habermas J. 1990. Nochmals zur Identitaet der Deutschen // Idem. Kleine Politische Schriften VII. Fr. a. M.: Suhrkamp.

Radtke F.-O. 1998. Multikulturalismus — Regression in die Moderne? // Fluchtpunkt Europa: Migration und Multikultur / Hrsg. v. M. Fischer. Fr. a. M.: Suhrkamp.

Sassen S. 1999. Guests and Aliens. N.Y.: The New York Press.